

Сергей СОЛОВЬЕВ

Сергей Соловьев родился в Киеве в 1959 году, окончил филологический факультет Черновицкого университета, учился живописи в киевской Академии художеств. Автор 19 книг прозы, поэзии и эссеистики, среди которых: «Пир», «Книга», «Дитя», «Аморт», «Крымский диван», «Индийская защита», «В стороне», «Адамов мост» и др. Лауреат премии «Планета поэта», финалист премии Андрея Белого, «Русского Гулливера» и др. В «Волге» публикуется с 2010 года.

ТРИ ГЛАВЫ

из романа «Улыбка Шакти»¹

Заповедник

До приезда в этот заповедник Тая с дикими слонами еще не сталкивалась. Мудумалаи сулили, казалось, сравнительно свободные вылазки в лес – к счастью для нас, местная администрация еще не так завинтила тут гайки, как в других заповедниках почти по всей Индии, обнося их колючей проволокой, рвами, блокпостами и камерами наблюдения, не говоря о тотальном круглосуточном патрулировании. Отчасти все это было и здесь, но здешние власти смотрели на нарушения режима еще по старинке сквозь пальцы.

Деревня наша называлась Масинагуди. Каждый день ранним утром или к закату мы уходили в заповедник. Главное было незаметно войти в него. Мимо озера, за которым дамба и охраняемая территория местной электростанции, оставляя слева маленький лесной храм Дурги, окаймленный змеиными фигурками нагов. Затем оставалось быстро пройти метров сто по дороге и метнуться по редколесью к речке в зарослях, где уже можно было выдохнуть. Дорога вела к деревушке Мояр, что означает что-то вроде «чудес», на окраине этих чудес жило племя ирула. И всё, дальше ни путей, ни дорог – непролазные джунгли на сотни верст.

Одному, конечно, рискованней, чем вдвоем. Еще и потому, что с Таей я себя сдерживал, не уклонялся от тропы, не лез в дебри, да и возвращались засветло. Но одному – честней, потому что открыт, обнажен. И лес это чувствует, отвечая тем же.

Рай наш укладывался примерно в пару километров, начиная со звериной тропы вдоль протоки, к которой мы сворачивали, едва войдя в лес. Рай, который в любую минуту мог обернуться и адом. Стада слонов, бизонов, оленей, тигры, леопарды, медведи, птицы, змеи, не перечислить. Но всего этого ты мог и не видеть, лес притворялся тихоней, ни признака жизни. Сколько раз себе говорил: меняй оптику зрения, сбивай инерцию, учись держать порознь мысли и взгляд. И чаще оборачивайся. Есть у индусов среди духовных практик и такая – лесного тапаса, своего рода лесных Вед. Посвящение в нечеловеческий мир.

Когда-то на этой протоке лесники обустроили бетонные мостики, их там четыре с расстоянием в полкилометра друг от друга. Может быть, для себя, чтобы потом патрулировать лес, переходя по ним. Но, слава богу, в эту часть леса они давно уже не ходят. Хотя всякий раз я присматривался к следам у начала тропы. Да, наверное, для себя сделали, не для зверей же. Хотя обезьяны ими пользовались. И медвежий помет нередко мы там находили. А слону не пройти – слишком узко. Но, если надо – достанет тебя, подойдя с речки, она неглубокая.

Тигр ведь сделает все, чтобы уйти от конфликта, а от слона, если ты у него на пути, не спастись. Скорость атаки с места – сорок километров в час. Особенно непредсказуемы

¹ Книга выходит в издательстве НЛО в 2022 году.

слоники с детенышами. Но еще опасней одинокий слон в период гона – блуждающий многотонный ком оголенных нервов. С мутным, заволоченным взглядом и непрерывными ручьями слез. Но это течет не из глаз, а из подвисочных желез. Уровень тестостерона поднимается в это время у них в десятки раз. А еще есть загадочные слоны без бивней, которых в Индии называют макна, о них до сих пор мало что известно, хотя встречаются нередко. Эти гиганты легко одерживают верх над самцами с бивнями.

Ходил я далеко за последний мостик. Какой же там лес прекрасный, как легко и светло дышать. Олешки с замшевыми ветвистыми рогами и снежной пургой на бежевой шерстке, особенно когда бросаются наутек. Но прежде долго вглядываются в тебя, присевшего и замершего на тропе, то вытягивают шею и выглядывают, поводя голову влево, вправо, то опускают ее к земле и снова стремительно поднимают, чтобы лучше разглядеть, кто же это там – недвижимый, но живой. И бьют ногой о землю, сообщая сигнал тревоги, но еще неуверенно, и не бегут, вроде и не человек там.

А я и есть не человек. Уже не совсем, надеюсь. В Раджаджи, когда только приехали с Таей в Индию, уже через несколько дней шли с ней по тропе, и вдруг – в тишайшем и еще минуту назад пустынном лесу – со всех сторон повалили звери, прямо на нас, но и не обращая никакого внимания – шли и шли, олени всех видов, кабаны, павлины, и даже слон вышел. А мы сидели посреди тропы, прижавшись друг к другу, и лишь смотрели, не понимая, что ж это происходит. Олени рвали ветки над нами, кабанчики всей семьей трусили, приближаясь, и в последний момент замирали на миг и огибали нас, как куст. А на следующий день за версту уже не подпускали, как обычно. Те же звери.

Нет никаких ожидаемых сценариев с дикими животными. Есть ты, которым в какой-то мере располагаешь, и есть зверь, считавающий тебя и тоже располагающий – и собой, и тобой. В зависимости от той незримой фигуры, которая рождается между вами.

С Таей мы обычно шли до второго мостка и устраивались там в относительной безопасности, сидя посередине него так, что только наши головы были видны, направленные в противоположные стороны – сидели валетом, держа в поле зрения всю протоку. Временами я отлучался в дебри – недалеко, на разведку. Лес за ближайшими к протоке зарослями был исполинский, оплетенный лианами, пропитанный тьмой и рваными сверкающими просветами. Сказочный и действительно страшный, если поддаться этому чувству. Ждала. Возвращаясь, я останавливался на подходе и смотрел на нее из зарослей: она сидела пригнувшись, чтобы ее не было видно, и смотрела поверх бетонной ограды на протоку, куда выходят звери. И прикинула к окошку камеры, чтобы что-то приблизить вдаль. И переводила на ближнее цветущее деревце, снимая двух длиннохвостых изумрудных ангелов, пчелоедов, которые в игривом пылу залетали на мостик и чуть не садились ей на голову, в последний миг отпрядывая. И щемяще светло становилось от этой картины.

Случалось, я возвращался из леса уже в темноте и находил ее дома занятой своими делами так, будто никуда я и не уходил. Рассказывал ей, но со временем со всё меньшим воодушевлением и всё реже на том языке, на котором переживал это там. Однажды спросил ее, а если я и к ночи бы не вернулся? Мог бы подождать, что ответит, но поторопился продолжить, сказав, что где-то к полуночи надо бы идти к егерям. Не помню – кивнула, кажется.

Сказать, что любил ходить с ней в лес? Да, она умела быть с ним в ладу, а этому не очень-то научишь или приобретешь. Быть с ним, и при этом со мной. В едином ритме, жесте, взгляде. Во всем, что на виду, у поверхности, но чем глубже, тем больше мы расходились. Каждый в себя. Но я и с собой расходился, потому что был с нею. И не с ней. Балансируя на краю. Но с кем тогда все это происходит? С тем, кто и не с собой, и не с нею? Но помнит, как это бывает, когда делишь себя без остатка с другим, с другою, и каждый прожитый миг звенит, поет и на просвет виден, таким и останется навсегда. А здесь – чьи они, все эти дары несметные, отчужденные, с краю?

Да, любил. Но больше – с собой. Хотя ее не хватало рядом. И как просыпались любил, еще затемно, как собирались в одно касание, пили кофе – порознь, но боковым зрением видя друг друга и даже спиной чувствуя. Быстро, ладно, молча, не отвлекая по мелочам, продолжая укладываться на ходу – раз, и мы уже на тропе.

Темп ее был моему созвучен, нет – вся партитура быта. Как ели, как спали, как шли, как жили. И в роскоши, и в нищете. Легко и умело. И спала на земле, и ледяной мылась, когда горячей неделями не было, или совсем без, когда никакой. Не жаловалась, не ныла. Случилось, месяц жили, обсыпаны язвами от пят до темени. Не до врачей было – джунгли. А потом вдруг такой ухоженной стать, ослепительной – в дворце нечаянном. Легко и естественно, как в прежней жизни. И взвалить рюкзак на себя – килограмм под тридцать, и идти, петь песни, ловя дыхание. Или переправляться через играющую радугой трясины, под которой останки коров, людей, оленей, уходить по горло в нее и выбираться, спокойно, собранно – из потустороннего. И, раздевшись на том берегу, смывать грязь, радужную, ввевшуюся, несмываемую. На виду у медленно проплывающих за излучиной крокодилов. И просыпаться – ладонь в ладони, а за стеной лежит колдун с воткнутом в лоб топором, и кровь стекает на чуткую землю.

Каждый за себя, в своей стороне. И не оттащить друг от друга, такая тяга. Как волк и волчица, и бег сквозь ночь и годы, щека к щеке, такая нежность звериная. Разве что на спину не падала, не сдавалась, напротив – зуб за зуб. Может быть, и хотела, чтоб я пожалел, поддержал в трудную, но всем своим видом показывала: я сама, отлежусь – в себе. Может, за этим было – ну подойди же, возьми меня за руку... Но разве у нас поймешь на таком расстоянии – ближе кожи и дальше звезд.

Странно все это, такая гремучая смесь – и отвага, и трусость. Собранность, и вдруг паника. Мы, которые вместе, одним телом, и полное недоверие – в глубине. Да, помогала и выручала не раз. И предавала. Но и ей ведь было что мне предъявить. И предъявляла, наотмашь. И – не сразу, полуживые, приходили в себя, и друг в друга.

Идти-бежать-лететь, ладонь в ладони, мчаться на местных автобусах, тук-туках, мотоциклах, о, сколько ж их было, этих дорог лесных и разных под колесами мотоциклов – я позади водителя, а она за мной, с развевающимися на ветру волосами и прижавшись ко мне. И открывать места неведомые, и, обмирая, видеть друг друга, и терять, терять...

Да, она очень любила лес, чувствовала его, что меня несказанно радовало, хотя так редко ей говорил об этом. Лес, но, как по ней, лучше б, наверно, без слонов и тигров. Медведей и леопардов. И змей. От которых и сам я мистически цепенел – с детства. Но и тянуло к ним потому же. Годом раньше я впервые держал в руках кобру. Правда, рядом со змееловом, но кобра была ближе – в руке. А потом он взял ее у меня и передал Тае. Какая нежная девичья кожа, сказала она, и какая теплая! Да, говорю, приходя в себя, действительно теплая, в отличие от меня.

Несколько лет спустя, в заповеднике Бор, я одержим был съемкой нильгау и каждый день ходил в джунгли, а она порой пропускала. И однажды, когда уже собрался идти, она вдруг в последний момент: я с тобой, ладно? Ладно, но на нашей дальней поляне с волшебным деревом ты меня подождешь, а я схожу к озеру, поснимаю стадо нильгау на мысе и вернусь за тобой, хорошо?

Возвращаюсь, она сидит на дереве, где удобно устроилась с камерой в метрах двух от земли, сидит недвижно, и что-то с лицом у нее, таким же недвижимым. Меня, кажется, говорит, не поворачивая головы, укусила змея. Я умираю. Где, когда, что значит «кажется»? Здесь, медленно встает, приспускает штаны, показывает, минут двадцать назад или больше. Немножко сознание терялось, и холодный пот. И сейчас? Нет, сейчас вроде легче. Стоит с недвижимым лицом и взглядом вдаль. Одна точка, не две, с небольшим воспалением вокруг. И укус не похож на змеиный. Что же ты, вот так сидела тут и ждала смерти? Да, говорит. Но я же был неподалеку, ты знала где. Нет, продолжая смотреть в эту даль, нет. Каждый за себя.

Противоречиво было в ней всё и малопредсказуемо. Вот мы в краях, где промышляют тигры, ставшие людоедами, покинув маленький перенаселенный ими заповедник в поисках свободных территорий, а в округе лишь деревни и перелески, и тигры начинают таскать скот, сталкиваясь с людьми. Черт его знает, что меня так влекло встретиться с этими людоедами. Она уклонялась как могла, то взрываясь, то молчаливо следуя за мной. Шла, как обычно, если тропа узкая, позади меня, но тут озиравшись, нервничая – тигры часто бросаются со спины. Но при этом ходила за дровами в лесную тьму – далеко и надолго, одна, именно в те дебри, где и бродила та тигрица-людоед Т-16. Могли бы и вместе пойти, нет – сама. И при этом наотрез отказывалась спуститься в ночи к озерцу за водой, которое вот же, рядом. И взвинчивалась, чтобы я заложил ветками в нашем шалаше проем в изголовье. Мол, пусть жрет с ног, не с головы. Сидел у костра, утишенного до углей, ждал, а она спала в шалаше или делала вид, отчаявшись повторять, чтобы сделал ярче.

Несколько дней назад в Нагархале слон затоптан директором заповедника, патрулировавший лес в сопровождении трех джипов, полных егерей с ружьями. Егери кинулись врассыпную, директор смят в лепешку. Дело секунд. А в прошлом году затоптана французенка, а перед ней англичанин. Даже не в джунглях, а на краю нашей деревни. Потом Праба пришлет мне видео, снятое на телефон неподалеку от тех мест, где обычно хожу: индеец с большой семьей и детьми расположились на пикник, слон вдали мирно идет стороной, а отец семейства уже во хмелю, пошел к нему поприветствовать, тот повернулся к нему, показывает всем видом и оттопыренными ушами: не подходи ближе. И всё. Крупным планом. На глазах у семьи, детей. Даже опомниться не успели.

Здесь, в Мудумалаи, у Таи случилась первая встреча со слонами. Это действительно страшно, я знаю. Когда большое стадо с детенышами вдруг бесшумно подходит сзади. На расстояние дыхания. И некуда деться, только сидеть вот так, спиной к ним, у ручья, и ждать, ждать, не шелохнувшись. И слониха-вожак долго смотрит на нас, остановившись, пока стадо переходит вброд, прикрыв нас от них собой. Так не бывает, не может так быть, но остались целы.

Такой была первая встреча, за ней – еще и еще. Она пропускала дни, не выдерживая, ходил один, потом собиралась с духом и снова шли вместе. Просила меня не лезть на рожон, не заходить далеко и возвращаться до сумерек. Я старался, но как возвращаться, когда лес оживал к закату, всё только ведь начиналось.

Бывало и так, что бежала в сдержанной панике. Так она отшатнулась, когда стадо слонов спускалось с горы, клубясь в нашу сторону. Они еще далеко, сказал, не тревожься, я знаю, когда... Нет, отрезала тихо, я отойду по склону, а ты – как хочешь. Обернулся – ее уже не было. А когда стадо, как ожидал, прошло стороной, начал искать ее, звать, темнело уже, прочесал всю округу, заглядывал в рвы, овраги...

Несколько дней спустя пошел в лес, она осталась дома, поначалу встретил олешков, а потом малёха, нескольких дней от роду, выбежал из зарослей. Стоит, смотрит на меня, я ему говорю: такой же один ты, как я, и невзрослый такой же, даром что на ногах крепче стою, и мама моя в далеком Мюнхене, а твоя где? Смотрит, делает неуверенный шаг ко мне. Нет, говорю, не я твоя мама, иди поищи-ка, пока не поздно. Повернулся, пошел.

Миновал второй мостик, и вдруг виденье: в косом луче стоит великан, олень-самбар, древний, могучий, с лесом рогов. Миг, и нет его. Не мог он вот так взять и исчезнуть. И привидеться не могло, я на него долго смотрел. Лишь луч остался гореть с пятном света, где стоял он. Так, подумал, наверное, и с Христом было. У сокровенного нет свидетелей. Больше одного быть не может. Но и он не сторож себе.

А потом шел вдоль протоки, тропа кончилась, берег обрывист, местами перепрыгивал с края на край, чтобы не спускаться к воде. В одном из таких мест, чуть разбежавшись, прыгнул – и, уже в воздухе находясь, гляжу: подо мной змея, длинная, скользит в воду. Для нее это было так же врасплох, грелась там на песке. И я как бы завис

прямо над ней, в метре. И, кажется, даже ногами перебираю в воздухе, чтобы как-то пролететь дальше. И невозможно долго длится это – она скользит, бесконечная, для кобры слишком темная, но, похоже, именно она, а я вишу над ней, каким-то образом не падая, хотя прыжок уже выдохся, а продвигаясь по воздуху дальше. Уже половина ее ушла под воду, и тут это замедленное кино вдруг ускорилося, и я приземляюсь, пролетев дальше, за нее. Вглядываюсь в воду, но она уже переплыла на ту сторону и скрылась.

Еще прошел немного, отвлекаясь на птиц, прислушиваясь к отдаленному треску бамбука – похоже, слоны ломают его, подкармливаются, и тут от неожиданности обмираю: из тьмы зарослей у воды доносится звук, который прежде никогда не слышал. Громкий, надрывный, похожий на рыданье, но как бы втягиваемое с воздухом в себя. И повторяется раз за разом. Вижу откуда, но не видно кто. Тихо, едва ступая, огибаю заросли, чтобы зайти с другой стороны. Медведь-губач! Смотрит на меня, отряс голову и пошел по тому берегу, а я на этом, между нами несколько шагов по неглубокой воде. И место открытое, как на ладони друг другу. Это он воду так всасывал. Еще придет ночью, не этот, другой, в мой домик, пока я сплю, поднимется по внешней лестнице на второй этаж и съест фрукты в вазе, оставленные на столе на веранде.

Эти губачи любят лесные плоды, корешки и термитов. Разрывают большими гнутыми когтями термитники, суют туда свою голую удлинненную морду и всасывают. И ходят по лесу, уткнувшись в землю, не слыша и не видя ничего вокруг. Потому и столько смертей при неожиданных встречах с ними. Читал я служебный отчет лесного департамента – несчастные случаи при столкновениях с медведями оказались на втором месте после слонов. Там же снимки медведя, рвущего крестьянина в поле, и еще семеро крестьян, пытавшихся остановить это вилами, лопатами и всем, что было под рукой, медведь изорвал всех восьмерых.

Присел на берегу, он прямо напротив меня, так близко я их еще не видел. То есть видел, но с джипа. Вики, водитель, молодой парень, сын егеря, выросший в заповеднике, нервничал, когда я просил подъехать ближе и выключить мотор, медведь был в шагах десяти и не обращал на машину внимания, но Вики все же отодвинулся вглубь джипа. Сейчас расстояние между нами было сильно меньше безопасного, вроде бы он неминуемо должен был броситься на меня, но нет – продолжал что-то вынюхивать, крутиться на бережке, порой взглядывая на меня, но без агрессии и даже интереса, потом повернулся спиной, чуть присел и долго опорожнялся. Затем подошел к невысокому деревцу, поднял голову, что-то высмотрел там и начал вскарабкиваться. Крона была густой и колючей, ветки тонкие, он все никак не мог там обустроиться так, чтобы достать, что хотел, и вдруг оступился, свалился вниз. Сел на землю и взялся лапами за голову, чуть запрокинув ее и раскачивая. Я едва сдерживался, чтобы не рассмеяться. А он все сидел, шевеля губами, вытягивая нижнюю, будто жалуясь: как же это могло произойти со мной, свалиться с такого детского деревца, еще и при свидетелях, вот стыдобище. Поднялся и побрел в заросли.

На обратном пути увидел у воды след леопарда. Вроде бы. Стертый, старый. Вспомнил, как с Таей после месяца скитаний по заповедникам, где в последнем жили с гигантскими крокодилами и колдунами-душегубами, оказались в краю тигров-людоедов, в гостях у Гиты, помощницы главного егеря, которого ждали наутро, а пока нас поселили в лесничестве, в каком-то вип-номере, и мы наслаждались горячей водой и неземным, настоящим, белоснежным постельным бельем, а утром, одевшись в чистое и нарядное, постиранное накануне Таей, сидели перед егерем, вернувшимся из лесу, где, копая котлован для водоема неподалеку от найденных недавно наскальных росписей, обнаружили динозавра. Обсуждали, куда он нас отвезет на неделю пожить в лесной сторожке. Пока разговаривали, ему все время слали на мобильный какие-то видео с волнообразным криком людей, он бегло смотрел, прося всякий раз прощения. Праздник? – спросил я. Он горьковато усмехнулся. Это была любительская съемка случившегося вчера в одной из деревень его района. Толпа крестьян с мотыгами и лесники с ружьями. И

леопард, вдруг врывающийся в толпу, перегрызавший горло одному-двоим и так же молниеносно исчезающий. И через несколько минут возникающий с другой стороны. Кровь, крики, попытки как-то оборониться, подготовиться к следующей атаке, и ничего не получалось. Он мог бы попытаться прорвать это оцепление, ускользнуть, спастись, но нет – почувствовав, что петля стягивается, он будет биться насмерть с ледяной яростью. Они забредают в деревни по ночам, а бывает, что и в дома. Уволакивают коз и попутно давят собак. И идут рожать на чайные плантации, если есть вблизи, там вода почище. У меня шрам на переносице от удара его лапы около года держался. И это он в вольере был, пойманный. В дальнем конце вольера и развернутый спиной. Я просунул объектив камеры в ячейку металлической сетки, чтобы поснимать его. Лишь миг – я даже не понял, что произошло и как можно было так телепортироваться – удар, и кровь залила лицо.

Вернулся к второму мостику, где мы обычно сживали с Таей, и перебрался на ту сторону, углубившись в чащу. Страшноватый там лес, ведущий незримую драму, в которой тебе нет места. Недвижная тишь, наполненная гулом предчувствий. Свежая слоновья тропа, ручей, рваные сети лиан висят, сквозь них – дыры неба. Присел на пригорке у ручья. Тень тут густая, как ночь. Если выйдут слоны – деваться некуда. И на дерево не взобраться – голые необъятные стволы.

Вот скажи мне. Вспомнишь ли ты хоть одну ее фразу, оставляющую долгий след – мыслью, интонацией, сочетанием слов, их свеченьем? Сиж, думаю, смотрю на воду, текущую у ног, и не нахожу, что ответить. Но тогда и ты мне скажи, ты, с другой стороны себя. Слышала ли она от тебя то, что ждала, на том языке, которым живет?

И тут я почувствовал чей-то взгляд в спину. Долгий взгляд, это длилось уже несколько минут, но теперь к нему добавилось и дыхание, чуть присвистывающее. Я медленно повернул голову и отшатнулся: ухмыляющееся чудовище с длинным раздвоенным языком уставилось на меня желтоватыми недвижными глазами. На расстояние руки. Демон. С меня ростом, лежал, приподнявшись на передних лапах, и дышал в лицо. Вдруг дернулся и вразмахку понесся в заросли.

Что за день – призрак оленя, потом медведь, теперь этот варан. Вернулся к протоке, а там всё преобразилось: была тишь, ни души, а теперь обезьяны носились по исполинским бамбуковым кустам, как по мачтам кораблей, внизу бродили стада оленей, вдали стоял гаур по грудь в воде. И – я не сразу его увидел – слон, одинокий, с большими бивнями. Он что-то выуживал хоботом над собой в кроне дерева. Пригнувшись, я начал осторожно приближаться к нему от куста к кусту, замирая, когда он отвлекался от кроны и мог бы меня заметить. Но он уже давно заметил. И видел, как я приближаюсь, хотя и стоял в три четверти спиной. И вдруг выдернул хобот из кроны и, перейдя на бег, скрылся в чаще. Прошло минут десять, и он возвращается – с подругой. Голова к голове идут, она останавливается, рвет ветку над собой, подносит к распахнутому рту – розовому, влажному, какому-то бесстыдно вагинальному и улыбающемуся. Он ждет, опустив хобот, покачивая им у земли, что-то трогая там, якобы занят делом и поглядывая на нее своим утопающим в морщинах, лучащимся глазом.

А чуть в стороне еще одна слониха вышла и уже окунает хобот в воду. Я выключил камеру и открыто сижу, смотрю, как эта молодая женщина, несколько не тревожась моим присутствием, занимается своими водными процедурами. Как набирает воду в хобот, полощет рот после еды, как изящно осьмушкой попы садится на краешек парашюта, разве что не одернув платье, как потом поднимает над собой хобот и что-то там несбыточное рисует в воздухе... Древние греки считали, что у слонов ноги не сгибаются в коленях, так и передвигаются на колоннах. Входит в купальню. Нега и счастье – и на боку, и задом вверх, и скрываясь из виду, оставляя игривый перископ над водой, и всплывая с разинутым ртом. А потом еще долго стоит на берегу, пока солнце садится, посыпая себя дымящейся в лучах красной пылью.

Тем временем еще одно стадо вышло к протоке, стоит в сухих зарослях, в полутьме, заштриховано черными ветками. Как театр теней. И хоботы у земли вяжут в

узелки, и встречаются ими друг с другом, разговаривают. И зеленые ростки на черной земле светятся, его-то они и собирают неторопливо, этот сочный свет.

И вновь округа преобразилась, обратившись в тишь, будто и не было тут никого, лишь один лангур сидит, как дозорный, на верхушке бамбука, раскачиваемого на ветру. Солнце уже клонилось, пора возвращаться.

Местами тропа вьется в густых зарослях, спускаясь к воде. На повороте тропы высокий колючий кустарник, ветки спутались, застыл проход. Пригнулся, протиснулся, впившиеся ветки еще держат за спину. Высвобождаясь от них, еще не вижу, что и кто передо мной. В нескольких шагах. Слоны. Трое. С детенышами. Ну вот и всё.

Ближняя стоит вполоборота, повернув голову ко мне. На расстоянии вытянутого хобота. Если бы подняла. Маленький карий глаз с длинными ресницами. Не гляди на нее, чуть в сторону. Медленно, без резких, вдавливаясь в спину в кустарник. Тело не слушается. Слононок выглянул из-за ее ноги. Вот здесь она и закончит с тобой. Один шаг, и вонзится в землю. Глаз ее так близко, что по сторонам всё в расплыве. Бегу по тропе, с сердцем, бегущим чуть впереди меня. И кажется, что она сзади, догоняет, еще мгновение...

Могила

Я был в Могиле, а где была Тая, я не помню. В Москве, оформляя документы в испанском консульстве? Под Читой, у знакомой знахарки? На Бали, с дочерью? Не помню. Был октябрь, взял билет и улетел в Индию, попав в сезон дождей, затянувшийся, волочащий свой мокрый хвост по всему югу и взвинчиваясь циклонами. И меня волоча за собой, измотав, доведя до края, пока не оказался в Могиле, где наконец полегчало. В пропащей деревушке в глубинке Карнатаки.

С самого начала всё было против, и все же поехал – думал, там переменится. Не тут-то было: отнималось всё, к чему протягивал руку. С порога был отнят лес в заповеднике Мудумалаи – новые правила, отрезаны подступы и любые возможности проникнуть. Вслед за этим камера накрылась, затем мобильный, потом место, где жил. И лили бесконечные дожди. Храмовые обряды и фестивали обычно зимой, до которой еще далеко.росло раздражение и усталость, и главное – уязвимость, всё отнималось, куда ни ступи. Дело, конечно, не во внешних неурядицах, тем более, не бог весть каких. Но бывает вот так что-то накапливается, вроде само по себе ничтожное и во многом даже незримое, но ткется некий узор беды, пишет на твоей коже, тихонько обнажает до той уязвимости, когда каждую соринку чувствуешь, будто в глаз попало, весь гол, как этот глаз.

Двумя неделями раньше, когда из аэропорта приехал в Масинагуди, был праздник Дивали, победа добра над злом, света над тьмой. Небо над деревней рвалось петардами. Присел на окраине, где потише, с буренками и буйволицами, и думал, куда отправиться, в какие дали, за каким счастьем... Да уж хоть за каким, не помешало б оно. Вернулся к Прабе, у которого снимал жилье в те дни. Курица за домом заполошно взмывала из травы, пригляделся, а там кобра с поднятой головой. Курица ее на себя отвлекает, птенцов спасая. Увела, успокоилась, да и кобра постояла так и прилегла. Взял палку, подошел, не вижу ее в траве. Кричу Прабе: тут у тебя за домом кобра... А он: да пусть. Ну пусть так пусть. Две ночи мы с ним слона с огородов гоняли. Огнем и криком. Есть тут сосед у нас, он чуть не каждую ночь кричит на всякий случай, выйдет с фонарем из своего домика и кричит – тяжело и гулко, как роженица. А потом весь день поле пашет. Что-то совсем не понять, куда ехать, куда жить. Зелено очень, в октябре я еще тут не был. Когда подъезжал, стада бизонов шли сквозь стада пятнистых оленей, по грудь в играющей в лучах заката изумрудной траве. Ночью думал о Маугли, о его десяти лет спустя, печальный рассказ получился бы, но правдивый.

Рай заколочен. Но все ж пошел в первый же день в джунгли. Нож, камера, дождь моросит, иду, а за озерцом – шлагбаум, кордон, которого не было, и не обойти. Подзывают меня двое в форме, с ружьями. Полицейский наряд при лесном департаменте. По первому разу мне удалось им голову задурить, и даже больше – пропустили пройти до ручья, где местное племя ирула постирушки справляет. Сказал, через часок вернусь. Не сдержался, пошел дальше в джунгли, куда обычно, но на полдороге прислушался к себе: не горячись, могут проверить у ручья, а тебя там нет. Вернулся, а там уже на ноги все подняты в деревне – и полиция, и лесники. Теперь можно ходить лишь до озера, посидеть у кромки леса.

Дождь все льет. Чувство щемящего конца надежд и путей-дорог. Как-то вечером окликают меня двое у деревенской харчевни: пойдём, говорят, чайку попьем. Оказалось, это те, кто меня тормознул у шлагбаума – начальник наряда и его помощник, но теперь они без формы и ружей. Пьем, разговариваем – о странах, о семьях, о детях... Наполовину на английском, наполовину жестами. Я им – терять уж нечего – говорю, куда и как я все эти годы ходил. И что в этом вся моя жизнь, весь воздух, которым дышу. Слушают, кивают, пьют чай, никакой полицейской реакции, напротив, как-то сочувственно даже. И тут этот начальник говорит: мы по работе должны постоянно прочесывать лес, ходим несколько дней, отряд у нас десять человек, ночуем в деревнях или в лесу. Ловим маоистов, их тут немало в округе. Пойдешь с нами? Да, говорю, но... как же эти ваши восемь, проговорятся ведь, и тогда вам тюрьма или минимум прощай работа. Кто проговорится? – удивленно смотрит на меня второй, – будут молчать, не пикнут. Допиваем чай, обмениваемся телефонами. Имя начальника – Шива. А твое, оборачиваюсь ко второму. Улыбается: Ганеш.

Еще на что-то надеялся поначалу, добился встречи с заместителем министра лесного департамента края. Прежде мне часто везло с егерями, а этот – просто чиновник, еще и трусливый. Говорю ему, уже давно не сдерживаясь, да и видя, что ему всё божья роса: если бы все жили по параграфам, мир бы кончился, не начавшись. Да-да, отвечает, согласен, но риск-то какой, вдруг случится что, а кто разрешил – я, выходит. И чай прихлебываем, а в дверях вся его свита стоит на цыпочках, прислушивается. Да, говорю, согласен, когда вас рожали, тоже риск был, и немалый, выходит.

Переехал севернее – в Карнатаку, но и там дожди, вопреки прогнозам. Вымотался и в какой-то мрачной деревне взял билет наугад на ближайший поезд, наутро выйдя в Тирупати. Там на высокой горе стоит храм, самый золотобрюхий в мире, куда текут миллионы паломников, оставляя по тонне состриженных волос в день, превращаемых в миллионы, но уже долларов, в США. Храмовый болливуд, елейный ад. К тому времени я уже давно не мог смотреть ни на еду, ни на кровать, чтоб хоть выспаться. И этот голос повсюду: ты не там, не туда, не сейчас...

Где ж она была тем октябрём? У отца в Братске? Который петли на заячьи петли ставит? В Севилье, взяв из Питера мальчика-умельца по ремонту квартир... Как же его звали? Чтобы помог перестроить дом. И сняла номер на двоих в ближайшей гостинице, а я все представлял себе непотребное, жгучее, а она смеялась в ответ. Мальчик не справился. С ремонтом. Уехал.

И какая разница, где. Где родилась, на кого училась, кем работала, сколько у нее было мужей, и вообще вся эта биография? Ее, моя, чья бы то ни было. Разве небо рассказывает земле, кем оно было, где носило его? И дерево не морочит голову соседу своей биографией, и зверь. Все они – вот, в настоящем, и все их прошлое, пережитое – в них, здесь, сейчас, в том, что видишь, чувствуешь. Это, а не биография с ее прихотливыми отсветами, большая часть которых живет далеко в стороне от человека. Отсветы, но куда ложающиеся – бог весть, а коснулись бы нас – едва признали. Но нам, людям, ведь так важно и нужно это – и в жизни, и в книгах – пусть во многом и иллюзорное, чувство жилого пространства во времени, что было до, что после, все эти связи, причины, хоть мнимый уют и упорядоченность в доме. Иначе, без этих костыликов прошлого и

будущего по сторонам, трудно стоять, неуютно – где ты, где дом, где твоя жизнь? Здесь, в тебе, в голосе, жесте, глазах. И отец твой, и мать, и все что было с тобой – в тебе, так и настолько, насколько твое лицо сейчас – твое. Это не о невежестве преклонения перед одним настоящим, о котором говорил Пушкин. Не о беспамятстве. Время не линейно, верней, не единственно линейно. И не циклично ходящее кругами, теми же и не теми, мнимо припоминающими себя. Как мы и жили, и куда дольше и привычней, чем в этой стреле. Но оно, время, и особенно в Индии, еще и баньян: ни ствола, ни корней, ни ветвей, ни начала, ни конца, одно в другом, в этом дереве-роще, узоре превращений. Здесь, в этом мгновении. Где нас нет.

Милые речи. А сам-то живешь так? Разве что, может, изредка. Нигде нет – ни тебя, ни нас. Нигде так, чтобы сказать: вот. Даже наше сознание вне нас. Да, ромалэ?

Тая, Тая... Оборотень отношений. И где настоящее лицо того, что меж нами, и есть ли оно – бог весть. Но пока все это длится, кажется, что где-то впереди вдруг спадет эта пелена двойственности, и все сойдется в одно, где мы едины. А если нет, и останется та же изматывающая неразрешимость, я все равно буду, вернее, надеюсь, что буду развернут к свету меж нами, пусть и краткому, иллюзорному...

В стороне от толп, текущих к золотобрюхому храму в Тирупати, зашел в департамент лесников. Сидят в нарукавниках, перекладывают бумаги. Кабинет начальника, вдоль стен выстроились подчиненные, чай на столе, трое вносят и разворачивают карту, он склоняется над ней и – не сразу – находит свои лесные владенья, отмеченные как заповедник. Вот здесь, говорит, я бы мог вас поселить, и наносит точку где-то в горах, и вот здесь – в другом краю. А где, спрашиваю, побогаче животными? В первой, говорит. И какие же там? Долго листает галерею в своем мобильном, наконец находит – вот. На экране птичка. Но где-то, говорит, был и пятнистый олень, я его видел в прошлом году, не могу найти...

Почти все ушли за последние годы, все близкие, жизнь опустела. Отец, дочь, потом один за другим друзья. Вот и Индия отступает. Ходил в номере от стены к стене. Бежать? И как потом с этим жить? Остаться, ждать, прислушиваясь к себе, с этим ряженым раем за окнами?

Чехов пишет: будь деньги, уехал бы в Африку, надо иметь цель в жизни, а когда путешествуешь, имеешь цель. А Печорин у Лермонтова: только не в Европу, избави Боже! – поеду в Аравию, в Индию – авось где-нибудь умру по дороге.

Однажды в Харнай проснулся среди ночи от укуса крысы. В подушечку указательного пальца. До крови, но не сильно, словно чуть прикусила, давая понять. Что же? Меньше указывай себе?

Набрел в интернете на баулов – бродячих поэтов-мистиков, восходящих к средневековой традиции на пересечении индуизма и суфизма. У них ежегодные фестивали, один из них в Бенгалии. Может, туда податься? Начал смотреть видео этих фестивалей. С первых секунд ясно – по лицу с запрокинутым микрофоном у рта. Не говоря об общей атмосфере попкорна. Мистики, их мать, самосожженцы неопалимые! С десятками миллионов просмотров. Не горит и не тонет. Злюсь от досады. И тут натываюсь на любительский ролик. Сорок просмотров, два подписчика. И человек делает то и так, когда не знает, выйдет ли из этого живым, когда не важно, перед кем это всё, и вообще, обитаема ли земля.

Земля, Авни. В прошлом году собирался из Бора переехать в небольшой заповедник Типешвар, он неподалеку – полдня на автобусах до Яватмала. Перед тем, еще находясь в Мюнхене, читал о нем, пробирался по гугл-карте, искал входы-выходы, тропы, переписывался с Сурией. А тем временем происходило там вот что, как выяснилось потом. Тигрица Т-1 по имени Авни из года в год убивала людей, на протяжении нескольких лет это замалчивалось, лесники ничего не предпринимали. Когда число жертв достигло тринадцати и крестьяне начали громить и жечь кордоны егерей и их джипы, власти зашевелились. К этому времени у нее родилось двое тигрят. Медленно, со всеми

бюрократическими перипетиями, наконец было принято решение усыпить тигрицу, а если не получится – ликвидировать. Но обнаружить ее, несмотря на то что лес там не такой уж большой, никак не удавалось. Силы наращивались и были доведены до двухсот специалистов с подключением армии, полиции, снайперов, слонов и охотничьих собак, камер слежения, дронов и парашютов. И даже мужского одеколона «Келвин Кляйн», привлекающего диких кошек. Безуспешно. Бульдозеры прокладывали пути в дебрях. Махуты на ездовых слонах, выписанных из соседнего штата, поскольку в Махараштре их нет, прочесывали лес. У одного из слонов еще в дороге начался гон, стал неуправляем, убил махута, покалечил несколько человек. Разрешение на отстрел тигрицы выдали знаменитому стрелку Навабу Шафат Али-Хану, хотя и среди егерей недостатка в профессионалах не было. Наконец тигрицу заметили, позвонили стрелку, трубку взял его сын и с друзьями выехал на место. Убил. Сказав, что она атаквала джип, в котором он находился. При этом пуля была у тигрицы в боку. А усыпляющий дротик, с которого по закону обязан был начинать, оставляя пулю только на крайний случай, был воткнут вручную потом – для видимости. В животе тигрицы должны были быть обнаружены ногти и волосы жертв, они сохраняются в течение полугода. Вскрытие показало, что этих следов нет. Начались поиски тигрят, уже десятилетних. Стрелок награжден от правительства серебряной статуэткой тигрицы. Крестьяне праздновали успех запуском петард. Авни, что означает – Земля.

Слонялся по Тирупати, уворачиваясь от верениц паломников, убредая на окраины. Что же делать? Идти до конца, но куда? Вернуться домой? В таком состоянии интуиция сбита с толку. И все же поменял дату обратного вылета. И поехал проселочными на местных автобусах в сторону аэропорта, до которого было два-три дня пути. Первой остановкой и оказалась Могила. Маленькая деревня с древним храмом Могилишвара. Сел напротив него с чашкой кофе, который сварил в своей турочке у чайханщика, смахивающего на Будулая, и так легко вдруг стало, и Индия вновь такая моя, родная, странствовать бы и странствовать, куда глаза. Ведь у меня еще целый месяц... был. Подъехал мотоциклист с петухом под мышкой. Передал брамину, тот отсек голову петуху, окропил землю вокруг мотоцикла, ушли вдвоем в храм.

Дорога без дороги, автобус движется, как баркас в непогоду. Ты путешествуешь, говорил мне молодой 800-летний монах в вайшнавском храме, но зачем и что оно значит для тебя – испытание, некое развитие? Развитие чего? Хорошо ему спрашивать в этом возрасте служения по отцовской линии. В храме, где родился и уйдет с братией. А зачем, спрашивает, нам четыре тысячи глаголов в этой жизни?

Почти все. И Рашид ушел. Тридцать лет спустя как переселился в Индию и со временем став свами. Открывал ее мне, когда я впервые там оказался. Годы непростых, странствующих отношений. Когда он включался на полную, выдержать разговор с ним – даже молча, но находясь в реальном диалоге, то есть тотальном, не только интеллектуальном – больше часа было едва ли возможно. В наших беседах, соглашаясь с ним во многом, я порой провокативно занимал противоположную позицию. Помню один такой разговор, при котором уж не знаю, как мы остались целы. Полночи наворащивали круги у священного пруда в храме Марса: он – «восток», я – «запад», хотя могли бы и наоборот. Он с посохом, в багряной шали, я в белой, соприкасаясь плечами. Ты кончишь свою жизнь, бросал он мне, устав доказывать, как все твои кумиры – в ничтожестве перед смертью с непрожитой жизнью. Как они, которым неведома практика реального проживания и трансформации, у которых лишь одни слова. И эго. Я отвечал ему не менее жестко. Расстались. И обнялись наутро. Ханси, японка, с которой он жил последние годы, пишет, что перешел в самадхи. Не думаю. Хотя что мы тут можем думать?

Бывает, какой-то ландшафт, пейзаж на краткое время выбывает в самадхи, такое ощущение. А потом приходит в себя, оживает. Что-то происходит между вами, или это только в тебе, твоим взляде...

Нет, не было в нем того благодного лада, который источают якобы достигшие, просветленные. Была мощная арена многоуровневой работы – конфликтной, парадоксальной, живой, этим и был интересен, и в своей силе редок. И ушел.

Но не тем холодным сном... О чем он? И темный дуб, и дремлющая жизнь в груди, и дальний голос о любви, и мир навек – свободы и покоя... Удивительно, ведь в то время Лермонтов о самадхи ничего знать не мог. О том одном из двух путей перехода, когда частично еще сохраняется сознание.

Вот и мне посветлело – там, в Могиле, с частичным сохранением.

Да, голос, хоть дальний, тихий, о любви. В сиянье голубом. В этом все дело.

Жизнь – тихходка, ростом полтора миллиметра, похожа на глубинного водолаза в скафандре. Ходит на тот свет как в соседнюю комнату, забываясь там на годы. Экстремальные условия нипочем, на ты с апокалипсисом.

А некоторые мхи способны восстать из мертвых и через десятки тысяч лет. Анабиоз, близнец-антипод самадхи, вроде бы та же физика, но устремлен не к вершине, а к низшей точке, с возвращением при благоприятных обстоятельствах. Хотя в сахаджа-самадхи тоже возвращаются – Будда, Христос...

Как-то у меня в Гурзуфе в книжных полках поселились дивные летучие создания – что-то между осаами-наездниками и львиными муравьями. Материнское сообщество с плавно заторможенным полетом. Они, эти эфемеры, оставляли клейкую кладку на страничных торцах книг. На Прусте, под сенью девушек. На замке Кафки. На Чехове. Шиферные трубочки кладки с темной мерцающей начинкой, будущими младенцами. Не на всех книгах, на избранных. Какое-то в этом было послание. И вылетали оттуда, рея по комнате, эти насекомые ангелы, чуть шевеля под собой длинными ниточными руками-ногами, и зависали у лица, исполняя причудливый танец. И тишь во все края за окнами.

В конце восьмидесятых, когда переехал жить в Гурзуф из Киева, достался мне при обмене участок земли на холме с крохотной дачкой и чудесным видом на море и горы. У многих в Крыму были такие садовые участки, называемые самозахватом, но это не мешало считать их частной собственностью, а спустя годы и узаконить. У меня прежде не было своей земли, воодушевился, сочинял сад, все цвело и плодоносило – от персиков до хрена. Пировал там с друзьями, когда приезжали. А за плетнем хозяйствовал доброжелательно прижимистый Гриша, служивший агрономом в Артеке, и мерял у себя рулеткой каждую лунку, сверяясь по методичке перед посадкой, и поглядывал на меня, втыкавшего палку наугад и уезжавшего на месяц, а палка распускалась побегами инжира. Счастливые годы безвременья, яйла над поселком, где еще водились стада оленей, пустынное побережье в несезон, книги, дачка, и где-то по ту сторону всего этого едва ощутимая жизнь страны с почти незамеченной мной сменой эпох. Гриша жил в том же доме, где и я, ниже этажом, в сплоченной семье – с женой, работавшей в ЖЭКе, двумя физкультурными сыновьями и тремя большими холеными собаками. Со временем отлучки мои становились все длительней – в Европу, Америку, и однажды я сказал Грише, чтобы присматривал за участком, а если хочет – может сажать там что-нибудь для себя. Вернувшись полгода спустя, увидел, что дачки моей нет, есть удвоенный и огороженный забором участок Гриши. И сам он удвоенный с поднятой дыбом шерстью к предстоящей схватке. Я представил себе все дальнейшее, вряд ли когда-либо разрешимое, как арабо-израильский конфликт, и отпустил. Не то чтобы вычеркнул из жизни, но выключил там свет и вышел. Да, непротивление нелегкое дело, когда не на словах. Особенно если касается земли, дома. Но всякий раз делаешь выбор из этих двух путей. И это вовсе не связано с пресловутой духовной свободой от привязанностей – материальных или любых других. По мне – напротив: привязывайся и во все лопатки, в этом твоя близость с жизнью. Но и умей отпускать. Как осень лето. Как и потом, когда Крым станет российским, а ты – иностранцем по отношению к своему же дому, и свет замигает и здесь.

Как странно, уже двадцать лет жизни в Мюнхене. Но там ли я, жил ли? Поначалу – да, и путешествия по Европе, а потом интерес поуугас, началась Индия. Отъезды и

возвращения. И всякий раз, идя по улице или гуляя в парке, задумавшись, вздрагиваю, вдруг слыша немецкую речь. И доходит не сразу, где я. И нередко спрашиваю себя, как бы дед, прошедший войну, отнесся к этому переезду. В тот день в сорок первом, когда Киев бомбили, бабушка с девятилетней мамой были на дебаркадере, оборудованном под плавающий санаторий, дед на весельной лодке переплыл Днепр под рвущимися бомбами, взял жену с дочкой и, когда они дома слишком долго собирали вещи в эвакуацию, вытолкнул их налегке, выбросил ключ, посадил в эшелон и ушел на войну. Считанные случаи в его жизни, когда, к удивлению знавших его, вдруг так решительно проявлял себя. В той самой жизни, где все мы в какой-то мере проявляемся, а о нем и этого не сказать, бог весть, в каком измерении он пребывал, кроме тех считанных раз. С той же безапелляционностью, когда родилась мама, прислал краткую телеграмму: назвать Майей.

Куда ж деть себя, где ты, жизнь, где ты, Мисюсь? Покинул Тирупати и на следующий день к вечеру оказался в небольшом поселке на границе со штатом Тамилнад в заповеднике Коундинья. Зашел к лесникам, крестьяне возбужденно толпились на подворье. Оказалось, один из жителей убил дикого кабанчика. Вернее, кабанчик сам убился, сунувшись на огороженный проволокой под током огород. За кабанчика – штраф или тюрьма. Крестьяне пришли заступиться. Когда поутихло, договорился, что завтра меня лесники свозят показать заповедник. Долго изучали мои документы и бумаги, фотографировали их и меня, звонили в город, согласовывали. Притом что, насколько я знал, заповедник у них пуст, только слоны, да и то раз в году в период миграции. Наутро едем. Тремя мотоциклами. Взираемся на наблюдательную вышку, там они делают селфи со мной – их задача выполнена. И напоследок показывают в своих мобильных снимки людей, съеденных тиграми, видео со слоном, сбитым поездом в глуши – слон привалился к откосу, вздыхая и беспомощно озираясь на остановившийся за спиной поезд.

Перебрался из заповедника в Могилу, оттуда в городок Колар с двумя древними храмами. Первый – храм Шакти, фасады испещрены древними текстами, резным орнаментом букв, то есть буквально ни пяди невербальной нет, письменный храм. Другой – шиваистский, там присел в безлюдном дворике и долго смотрел жизнь на высокой башне, где выясняли свои отношения попугаи, совы, орлы и зеленые голуби.

Как ни парадоксально, говорю тому молодому монаху, сидя с ним на завалинке, но люди, желая счастья себе и друг другу, подсознательно его сторонятся – за его кратким всплеском неминуем спуск, если не срыв вниз. Смеется. К испытанию счастьем, как и его младшей сестрой – радостью, говорит, нужна смелость и открытость. Или блаженная слепота.

Вот у кого было хоть отбавляй смелости и открытости – у дочери. А за ними в глубине – неуверенность и отчаянье. Как и у меня, с этим зорким самонадеянным зрением – вроде бы видеть как есть, но и перерисовывать на ходу в то, что хочешь видеть. Блаженная слепота. Испытанных счастьем. Именно там и гнездится отчаянье. Какая улыбка у нее была – безогляднее не бывает. И глаза – яснее дня божьего. И ноги длинные, неземные – чтобы лететь... Лететь.

Сколько же путей-дорог у нас было с ней, когда чуть подросла? Отвезли нас на лодке в бухту на мысе Аю-Дага, договорились, что заберут через несколько дней, но шторм разыгрался, неделю лодки не было, ютились в отвесных скалах, как птицы, над заливаемой волнами бухтой. И я рассказывал ей об Ифигении в Тавриде, о храме жриц любви, который стоял на вершине этой горы, и срубленные головы мореплавателей наутро катились по уступам скал по обеим сторонам от нас и падали в воду, она прислушивалась, вздрагивая, и вдали уже проступал парус Ореста... А потом она еще подросла, и мы ушли надолго по горному Крыму, жили в пещерах Тепе-Кермен, и однажды после долгих скитаний поднялись на Мангуп и обомлели: на вершине залитого солнцем пещерного холма стоял большой вертолет и ни души вокруг, лишь пенье цикад. Прошли еще немного, раздвинули кусты, а там на полянке сидят обедают летчики. Разговорились, я пошутил, спросив, не станут ли они кудесниками для вот этой девочки,

мечтающей немножко полетать? За скромный гонорар в сто долларов, что по тем временам были приличные деньги, но все же не для таких авантюр. Шутка не удалась – полетели! Мы с ней и летчик в накрахмаленной рубашке и галстук, несколько эллипсов вокруг холма с киношным зависанием у пещер. Как же она счастлива была!

Могила, Колар, потом деревушка с непроизносимым именем. Окраина, вдали за окном ночлежки – шамшан, жгут кого-то, звук барабанов. Где-то в той же стороне за шамшаном – аэропорт, утром вылет. Ну вот и все, еще выйти, побродить, проститься с днем. Ветерок оттуда, сладковатый дым, как листья жгут, листовняной человек, прогорающий. В прежние времена для погребального костра брали два мана сандала, четыре мана топленого масла, пять серов камфары, полтора сера алоэ и десять ман твердого дерева. И лучше в Варанаси, чтобы избежать восьмидесяти четырех тысяч перерождений.

А что противостоит необратимости? Творчество? Черновик, переписывание, порой неудержимое, как у Врубеля? Входя в те пределы, которые вроде бы этой перезаписи не подлежат: в жизнь, отношения с людьми, временем, миром? И жизнь поддается. Порождая и чудеса, и инвалидов рая.

Вернулся, стоял у окна, к чему-то прислушивался внутри – дальнему, неречевому. Минуты настоящей близости с жизнью – бесчеловечны.

В последних лучах солнца пролетел ибис, истощно голося, и потом еще долго стихал скрипучей жалобой небесного нежилого дома.

Тарибандер

Прошел год. Взяли рикшу, едем с ветерком вдоль океана. По пути подсаживаются женщины-рыбачки с корзинами, возвращаясь из Харнай с рыбного рынка в свою деревню Панчпандари, живущую одним бесконечным лабиринтом дворов и переулков с никогда не закрывающимися дверьми домов, где коровы, собаки, дети, рыба, коты и женщины давно срослись в единое существо. Рыба сушится, серебрясь по всей земле, и моросит, как дождь, подвешенная на нитях. Дети и коты болтаются по небу, стоящему на коровах. А женщины с хриплыми птичьими голосами могли бы взглядом класть на дно корабли, но некогда тратить себя на такие мелочи – у них рукопашный рынок на рассвете и закате, где они полыхают в грязи и гомоне такой красотой одежд и тел, что не сразу видишь восходящее над океаном солнце.

Едем мы и поем в голос: рыбачка Соня как-то в мае... И рыбачка, сидящая рядом, с удивлением поворачивает к нам голову, и на лице ее проступает неуверенная улыбка, и всё ширится, и наконец она кивает нам, понимающе: да, да, но дело, видите ль, не в том. Потому что эти двое пришельцев неумно счастливы, и поют, поют, и бог с ним, что у него не очень-то со слухом, зато от души, а у нее – всё чудесно, и голова ее на его плече. И рикша отводит взгляд в смущении.

И вот Панчпандари, где нас уже знают, позади, едем дальше – к устью реки, впадающей в океан и выпадающей из него, с течением в обе стороны, смотря в какое время дня. Там рыбацкие корабельные доки, за которыми мусульманская деревня Тарибандер с двумя мечетями. А на той стороне реки – безлюдье до горизонтов, безвидный песок и небо. И заросший мангровым лесом берег реки с деревьями, забредающими в воду по грудь, а в часы отлива отступающими до лодыжек. И в зарослях – брошенные, оплетенные лианами корабли. На тот берег везет маленький сухенький Яма на доисторическом челне с противовесом, похожим на длинную, скользящую по воде оглоблю – древний прообраз катамарана. Паромщик стоит на корме с шестом, бос, просмолен, в высоко подоткнутой лунги и взглядом поверх обозримого. В челне, кроме нас, мусульманка в никабе, и мы горланам: поедем, красotka, кататься... Верней, горланю

я, поглядывая на нее, Тая смеется, подпевая, а она все выше подтягивает свой никаб, но видно, что под ним улыбается.

Однажды обнаружив эти места, мы нередко сюда ездили в течение этих лет. Переправлялись на челне, шли по прибрежному песку к устью, раздевались догола и ложились у воды. Тая могла так лежать жизнь напролет, а я, опоясавшись куцым индийским флагом, наматывал праздные круги по золоту суши и серебру воды, и возвращался к ней, любясь то вблизи, то издали. И счастье было таким первозданным, именно что. И такой радостный пес носился внутри, ну что ему скажешь, приходилось не подавать виду, ходил благороден, гол и задумчив вокруг якобы спящей красавицы.

Каждый час с обоих минаретов за рекой раздавалось пение муэдзина. Второй муэдзин чуть запаздывал, и получалось вынимавшее душу двуголосие, лившееся над этим безлюдьем и безвременьем, над пустынным берегом с вытященными на сушу кораблями, над мангровыми лесами, над маревом океана с желтоволосой звездой над ним, над нами и сквозь нас. Я брел по воде и подпевал: «Рам, Рам», – успевая вставить этот отсвет индуизма между двумя «Аллах Акбар», которые тянул муэдзин. И оба мира переплетались.

Было два дня до ее отъезда в Севилью, я собирался еще остаться, и, видимо, надолго, думая о дальнейшем путешествии, перебирая варианты. Что-то необычайное происходило с нами. Будто кто-то незримый взял нас в ладони. И такая нежность друг к другу, и тихая радость, и столько света... но с нестерпимой собачьей печалью в глазах. И какая-то незнакомая прежде бережность друг к другу. Страшно сказать – на грани понимания. И грань эта дрожит, как жилочка. Потому что расстаемся? Но не впервые и ненадолго ведь.

И вот неслись на этой разухабистой бричке-таратайке, смеялись, пели громко: «Капитан, капитан, улыбнитесь» и «Загулял, загулял мальчонка», и «Утомленное солнце», и жались друг другу, и она так щекотно вдруг подцеловывала в плечо и шею, и рыбачки смущенно отворачивались.

А потом переправились на тот берег, легли у воды лицом к лицу, и я тихонько ей: «всё вы, губы, знаете, всё вы, думы, помните...» Нет, улыбается, губы – помнят, думы – знают. Ладно, говорю, и снова: всё вы, губы, знаете... Она льнет поцеловать меня, но я смеюсь и чуть отстраняю ее: дело ведь, говорю, серьезное. Абсолютно, шепчет она. И тут эти два муэдзина затягивают свою песнь, мы уже сидим спиной к спине, она запрокинула голову, положив ее мне на плечо, и прикрыла глаза. Губы окающие, думы потаенные, поем мы, и муэдзины тянут второй голос: Аллааа Акбар, и долгая их песнь, сплетающаяся с нашими голосами. Верней, создающая какую-то сводящую с ума потустороннюю акустику. Бестолковая любовь, головка забубенная... И я чувствую, как на предпоследнем слоге первого слова лицо ее чуть кривится от горечи, вкладывая в это подчеркнутое ударение всю безнадежность усилий. Муэдзин вдруг смолкает и проступает завыванье собак за рекой. Всё вы, губы, помните... Она находит за своей спиной на ощупь мою ладонь. Позову я голубя... Порывы ветра глушат голос, срывают его с губ, голова ее запрокинута, глаза прикрыты, ладонь в ладони. Пошлю дrolечке письмо, и мы... Встаем, идем к воде порознь, я ныряю и плыву под водой, плыву... уже нет воздуха, совсем его нет. Она нагибается, споласкивает от песка ладони и идет вдоль берега, поддевая ногой нити воды.